ЗЕЛЕНАЯ ПТИЦА С КРАСНОЙ ГОЛОВОЙ

ЮРИЙ НАГИБИН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эссе из цикла «Зеленая птица с красной головой».

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Свидание с Грузией

Я думал — мы не улетим. Московское небо было в окладе тяжелых, зловещих туч, на западе кровоточащей раной зиял багровый закат. Под тучами, от вершин сосен до низкой пожухлой осенней травы, свирепствовал неспособный выбрать направление ветер. Заломив деревья в одну сторону, он вдруг бросал их и гнул траву, гнал сор и бумажки в другую сторону, а затем тянул наперерез…

Но ТУ-104 царственно пренебрег всем этим неистовством. Он ушел в чистоту и пустоту заоблачной ночи и через два часа опустил нас в другую ночь, полную звезд, тепла, запахов еще зеленой жизни.

Я совсем не помню путь от аэропорта в Тбилиси. Помню лишь, как на подступах к городу шоссе, осененное месяцем и звездами, а по краям оплеснутое черно-бархатистой тенью кустов, загородилось чем-то темным, живым, грозно-молчаливо надвигающимся прямо на нас.

Прошла не одна, верно, минута, пока я понял, а потом увидел, что это стадо бычков-годовиков, которых гонят на бойню.

Сейчас я не помню, как выглядел идущий во главе стада гуртовщик. Он соединился в моем воображении с пастухами, которых много позже я видел в Кахетии, и с моей тогдашней готовностью к чуду. Мне кажется, что на нем были овечьи шкуры и высокая островерхая шапка, мягкие, крадущиеся сапоги, что в руках он нес пищаль в серебряной насечке, я даже помню ее голубоватый сверк, а за спиной молчало туго притороченное чонгури, что ростом он был равен своей лунной тени, лицом смугл, волосами и подковкой усов черен. Но пусть за это описание отвечает грузинская ночь.

Стадо растекалось по сторонам машины двумя потоками темных тел, крепких запахов, мягко-шумных дыханий. Поблескивали белки удлиненных глаз на милых тупых мордах, глянцевито курчавились на плоских лбах колечки волос. Еще дети, лишь томимые влечением, но не ведающие сути своего естества, бычки накрывали друг друга и недоуменно рушились с глухим стуком передних копытец на шоссе и, толкаясь боками, сшибаясь короткими рожками, влеклись дальше. А позади шла старая, большая, сорочьей расцветки корова с иссякшим выменем и катилась войлочная груда овец, сцепленных, как ком репейников. Мощно, сильно, широко двигалось в смерть большое

стадо…

Щедрым, пиршественным изобилием встретила нас Грузия…

Мне еще в Москве вдолбили: нельзя быть в Тбилиси и не зайти в хашную. Но оказалось, что хашные открываются в шестом часу утра, а к семи иссякает то бледно-серебристое освежающее чудо, которому хашные обязаны своим названием. Убедившись, что радостная, напряженная суета наших тбилисских дней, наполненных встречами, гостеприимством старых и новых знакомых, беготней по крутым улочкам старого города и поездками по окрестностям, не позволяет нам укоротить ночь, мы с женой решили совсем не ложиться спать и прийти к самому открытию хашной. Двое наших тбилисских друзей добровольно разделили с нами пытку бессонья.

Мы до одури петляли улицами Авлабара, бродили по набережной Куры, восхищаясь грозной высотой Метехи, выхватившей из неба косяк звезд, карабкались по булыжным кручам и опускались в нестрашные пропасти старого города, полные сна и покоя; мы заходили в пекарню, где старик-хабази, похожий на дервиша, не утруждая себя ни прощанием с близкими, ни изъявлением последней воли, нырял в адову печь — тонэ, расшлепывая по ее раскаленным стенам комки теста. И в этом непрестанном ночном кружении я окончательно утратил то маленькое знание города, которое успел приобрести за минувшие дни.

Кура первая откликнулась на зарю, приняв на свое чистое, бледное тело брызги раздавленного граната, затем порозовели белые голуби в небе над Метехи. Но лица томившихся возле запертой хашной любителей освежающего блюда еще были во власти ночи: будто обдутые пеплом по тусклой желтизне, изглоданные страстным нетерпением и ожиданием чуда. Лишь полный веселый милиционер, гонявший с места на место очередь, по-овечьи суетливую и покорную, был розов и прекрасен, как голубь.

Что за люди сгрудились перед хашной? Да самые разные. И труженики и бездельники; и те, кому садиться за баранку тяжелого грузовика на долгую шоферскую смену, становиться к станкам, работать иглой, шилом, малярной кистью, мастерком, киркой и лопатой, и те, кому праздно носить бесцельную тяжесть рук в длинном, не для них родившемся дне…

К пяти часам, когда зеленые верхушки платанов окунулись в первую, робкую голубизну неба и занавески на окнах хашной уж не могли скрыть творившейся в таинственных недрах жизни, вдохновенное нетерпение толпы пересилило потуги милиционера. Алчущие ввязли в стены, в окна, в двери хашной,

как застигнутая зарей гоголевская нежить.

— Думаешь, раз ты самый толстый, так и самый умный? — уцепившись за ручку двери, кричал милиционеру маленький человек в комбинезоне, с огромными глазами раненого оленя.

— Если будешь так выражаться, я про тебя в газету напишу! — грозил милиционер, исчерпавший все иные способы воздействия.

И началась то нежная, то яростная, то моляще-скорбная, то неистово-гневная игра с дверью. Ее тихонечко раскачивали, так, что серебристо позванивало стекло; ее трясли, будто хотели напрочь вытрясти неумолимую дверную душу; перед ней прыгали, чтобы заглянуть в мутный стеклянный зрак; перед ней склонялись, будто желая поцеловать в железные губы замочной скважины. И жена за моей спиной очень тихо прочла:

…Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей.
И я поцеловал те двери.

Имеющие уши слышат! Мы убедились в этом, еще не успев погрузить ложки в то белесое, пахучее, полное как бы разваренных в мякоть костей, что представилось мне студнем в его первом загустье и что был хаши. Перед нами возникла откупоренная бутылка кахетинского, которое мы не заказывали, а по залу катилось озвонченное мягким «л» имя:

— Галактион!.. Галактион!..

Что было делать? Конечно, были среди набившихся в хашную людей и бездельники, но куда больше было прекрасного трудового люда. И, взяв в руку стакан с вином, жена стала читать:

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей,
И я поцеловал те двери…

И люди замерли над остывающим хаши, которого жаждали пуще манны небесной, над хаши, только что щедро заправленным чесноком, над пригубленными стаканами, и замер с подносом в руке глава, слуга и кудесник этого полуподвального царства, и оборвали свой бег Тамара и Писана, царицы, прикинувшиеся официантками, и стоял в дверях блюститель порядка, уже не голубь, но и не милиционер, скорее убаюканный музами Марс на

празднике небожителей.

…Все плакал я, как старый Лир,
Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

Последние строки расколдовали это совсем не спящее, но такое же зачарованное на полуслове, полужесте, на незавершенном движении царство…

А затем кто-то, рыдая, читал «Мерани» и кто-то читал Важа, и мы поочередно читали по-русски и по-грузински снова Галактиона Табидзе, и Симона Чиковани, и Ираклия Абашидзе, и совсем молодых поэтов, и наконец то — мужское, сильное, жалкое и грозное, как заклинание:

Когда мы рядом в необъятной
Вселенной — рай, ни дать ни взять.
Люблю, люблю, как благодать,
Осенний взгляд твой беззакатный.
Невероятно, невероятно, невероятно,
не описать!..

Я так и не распробовал тогда вкуса хаши, но зато меня до дна пронял терпкий и сладкий вкус грузинского поэтического слова. Удивленно, благоговейно мне думалось: как прекрасно и страшно быть поэтом Грузии!